

апр-84
80

У АЙТМАТОВА, В ЧОЛПОН-АТА

Хребет Кунгей-Алатау заплатил дань озеру, направив к нему речку Чолпон-Ата, и она во время таяния снегов, захлебываясь от восторга, мчится по каменному руслу от холода наверху к теплу в долине. Над Кунгейем расположен Заилийский Алатау, но по его державной воле все источники устремлены в северную сторону, к Алма-Ате. Эти два хребта по природной целесообразности и справедливости распределили водное богатство между соседними республиками — Киргизской и Казахской.

На северном побережье Иссык-Куля, чуть ли не по самой середине Киргизского моря, в 260 километрах от Фрунзе, и расположен городок Чолпон-Ата. Он находится в заповедной зоне, которая охватывает и само озеро, и двухкилометровую полосу вокруг него. Этому местечку между озером и горами суждено войти в творческую биографию Чингиза Торекуловича Айтматова, а вместе с ним и в современную советскую литературу. Последние строки романа «И дольше века длится день» заключает пометка: «Чолпон-Ата, декабрь 1973 — март 1980 г.». Рука, крепость которой я с удовольствием ощущал при ежедневных утренних встречах и вечерних прощаниях до завтра, написала эти слова — цифры — дату ровно четыре года назад вот в этом самом домике, где и сейчас трудится писатель. Кроме публицистических статей, за этот срок ничего не было опубликовано. А пишется, работает в удоении полного одиночества, и что-то чувствуется, близится к завершению. О подробностях не говорит, а только:

— У меня получается две-три странички в день. Вернее — в сутки. Побольше — редко. Для большой вещи — капля в море.

Ветерок увлеченности прорывается: он образует волны и на озере и в душе художника. Тут сходство есть. Возникнув в дальних просторах, наполняя мощью глубин, водной вал шумно встречается с берегом, раскатывается, плещется, дробится и поит землю. Вот так и художник, отключившись от людского моря, питает виденным и слышанным чистые страсти, лежащие на рабочем столе. Знаешь ли! И тем не менее признание:

— Иногда зарабатываю и не сразу догадываюсь, что бумага перестала и на понимать. Ловлю себя на мысли, что мы пошли врозь. Я хочу одно, а она выплывает нечто совсем другое. Потерял управление. Бросаю, варю на себя и ухожу на прогулку.

На этот раз выхаживаем вдвоем. Уже знакомые аллеи и тропинки, вытоптанные вокруг небольшого пресноводного озера. Заросли карагача, березки, липа, хвоя. Высокие тополя с боковыми побегами, плотно жмуцкившись к стволу, словно божащиеся от него оторваться. Во владениях присвистывают на ветру трехметровые прошлогодние камыши с развевающимися султанами, серо-бураватый цвет их так походит на оперенье фазанов.

Вот миновала и февральская двадцать девятка, которая и превращает весь год в високосный: есть чему приписать погодные козни! А они поистине удивительны: наступивший март разбурился пуще февраля. Все как-то не ко времени, природные шуточки во вторую зиму. Неурядовищность бросается в глаза неестественность. Прибрежная полоса, где в дорную пору уже вовсю шпарит вверх зелень, означена тонким, светящимся белозной и синевой ледком. На камнях, как голые чехлы на чайниках, застыли затейливые фигурки льда. Созданные ночными заморозками из брызг разбивающихся волн, они плавают на дневом, вопреки всему пригреваемом солнце.

В заливе не плавают, а мягко и небольно покачиваются дикие утки. Они прилетают сюда в ноябре и покидают залив в марте: для них это любовная, свадбная пора. А на территории разгуливают фазаны. Шныряют под кустами, появляются у канавок-арыков, вода которых еще не успела напоить сады, грядки, посеяны. В эту пору к ним припадают только домашние животные, да птицы, да зверье. Кажется, больше всего и всех налиты уверенностью

в наступлении весенней погоды почки сирени: их узелочки увеличиваются с каждым днем и вот-вот готовы треснуть и поменять ярко-салатные головки на зеленые листья, хотя ветки в снежной пыли...

Чингиз Торекулович одет в синюю спортивную куртку, а на голове клетчатая фуражка — произведение какого-то смелого закройщика, взявшего что-то из киргизского национального головного убора и от ковбойской кепки. Пожалуй, он больше любит слушать собеседника, чем разговаривать, но не уходит от ответа на любые вопросы. Признается, что Чолпон-Ата устраивает его необходимой отгороженностью от всех и вся, тишиной, уютom, близостью к природе. Ни во Фрунзе, ни в родном аиле Шекер таких благоприятных условий для творческой работы не создано. Да и как это уединиться при соседстве с многоколенной родней? Как удержать себя от соблазна оседлать иноходца и пуститься с земляками в поля, на луга, в ущелья? Как уйти от бесед, которые могут затянуться на долгие часы?

А наездник он прирожденный, отменный, обожает горячих коней. Да и собеседник незаурядный и всюду — желанный гость. Уж где-где, а в Киргизии его знает и стар и млад. Любит он окружить себя акакалами и добраться до сути в откровенных излияниях. Или повстречаться с молодежью, в спорах с которой затрагивается решительно все. Одному из своих посетителей он подарил книгу с надписью: «Как было бы хорошо, если бы мы могли почаще встречаться, чтобы души наши взаимно заряжались думами жизни».

И в этих словах сказались натура писателя. Встреча произошла как раз в те дни, когда он весь ушел в труды праведные, оставив жену и детей во Фрунзе. А это го гостя принял, встретил, уделил ему не мало времени. Приезжий товарищ, чувствовал, что несколько обременяет хозяина как бы оправдываясь, заговорил о благом одном воровстве времени и услышал:

— Беспольных и безрадостных встреч нет или почти нет. Теряешь время, но что-то непременно приобретаешь. А ведь время на то нам и отпущено, чтобы его тратить. Вопрос лишь в том — как? А почему вы думаете, что вы у меня крадете время, а не я у вас? Так положим его в общую копилку...

Объясняет в киргизской мифологии Чолпон — это Венера, утренняя звезда. Она же и Афродита, возникшая из морской пены. Древние греки называли ее выныривающей Кипридой, так как она вышла из моря на остров Кипр. С ней и связан культ любви и плодородия. Киргизы же, как, впрочем, и другие азиатские народы, чтит Чолпон — Венеру как покровительницу пастухов-скотоводов, чабанов. Слово «ата» переводится и как старец, и как пастырь, то есть пастух.

Сравнительно недавно в Чолпон-Ата сгонили скот на зимовку со всего Прииссыккуля. Там, где сейчас стоят домики для отдыхающих, располагались отары овец. Кошар не было и в помине. Овцы ягнились на лужайках, под кустами, под открытым небом, зачастую прямо на снегу. Молодняк не боялся легких заморозков. Овцы были физически крепче, более приспособленными к суровым климатическим условиям, но причислялись к разряду грубошерстных, как бы второстепенных и второсортных. Потом были выведены тонкорунные породы овец, но они изнеженнее своих грубошерстных предшественниц, им необходимо теплые помещения. Шерсть стала лучше, а выносливость утрачивается...

Картинно рисует картину: десятки, сотни тысяч голов скота разместились на побережье залива. Лежат отара и отаре — их разделяет полоска, равная узенькой пешеходной тропинке. У опытных чабанов не бывало путаницы, когда одна отара вклинивается в другую и растворяется в ней. Вскочили с лежки — пошли на пастбище всей отарой. Вот какое умение требовалось от чабанов! Овцы знали и признавали голос только своего пастуха. Другой может надащить горло от выкриков ко-

манд, а животное не из его стада и ухом не поведет. Когда же вступится свой и скажет вроде бы негромко, а смотришь — овцы послушны...

В «Заметках о себе», появившихся двенадцать лет назад, он писал: «Я видел народные кочевья такими, какими они когда-то были. Кочевье — не просто передвижение со стадами с места на место, а большое хозяйственно-ритуальное шествие. Своеобразная выставка лучшей сноровки, лучших украшений, лучших верховых коней, лучшей укладки на верблюдов выюков и ковров-попон, которыми покрывались поклажи. Показ лучших девушек и певцов-импровизаторов, исполнявших траурные (если покидали место, где скончался близкий человек) и дорожные песни. Я застал эти яркие зрелища на самом исходе, потом они исчезли с переходом на оседлость».

Меня всегда удивляла и по-человечески привлекала вот эта житейская дотошность, превосходное знание деталей, мочей быта. Но обладая таким багажом,



Март. 1984 год.

хрупнейший прозаик современности никогда и ни в чем не отдавал свое перо бытовому писательству, как он выражается, репортерскому реализму. Его прежде всего интересует человек в человеке, вечный сказ о нем. В его произведениях — «не будто бы жизнь», не подобие реальности, не похожесть с натянками или передержками, не плоскостное изображение, а захватывающая своей правдой полнота потока в людском море, ищущая человеческая душа, волшебный дар сопереживания со своими персонажами, с современниками. Потому Айтматов — «не при литературе», а в литературе, в числе ее подлинных и лучших представителей. Он неравнодушен, а отсюда и его сознательное, глубоко осмысленное драматическое восприятие действительности. Его слова:

— Писать надо с полной отдачей душевных сил всегда. Умирать с каждой книгой. И рождаться заново ради новой.

Вот так: ни самолюбования, ни тени самоуспокоенности, ни желания повторять себя даже в удачных вариантах. Я пишу не обзорную критическую статью о творчестве писателя Айтматова, в которой можно было бы убедительно показать, как он шагает от одного произведения к другому, как крепчает его реализм, как духовно полнее и богаче становятся его герои, включенные в сложные проблемы современности: довольствуясь заметками наблюдателя, собеседника, оказавшегося, к счастью, у рабочего стола замечательного художника слова. Лежат листки бумаги, испещренные пометками, поправками. — Не пишу у вас машинки. — Вижу от руки. На машинке у меня

не получается. С ручкой как-то привычнее, лучше думается, слово ближе к тебе и ложится на бумагу плавнее, естественнее, под собственный шепот. Машинный стук меня отвлекает, нарушает абсолютную тишину, в коей и рождается ничем не испуганное слово.

И снова вышли на прогулку. Заглянули в книжно-газетный киоск, потопали по городским улицам и возвратились на «свои» прибрежные тропинки-аллеи, дорожки с клумбами и арыками, с весенним гомоном птиц на деревьях. Чингиз Торекулович на этот раз одарил меня рассказом о знаменитом в Киргизии сказителе Саякбае Каралаеве. Он был уникальным манасчи — читал наизусть эпос «Манас» и знал миллион строк из него. Киргиз из Таласской долины и иссыккульский киргиз, каковым был Каралаев, подружились. Случалось, вместе выезжали в деревни, где Каралаев выступал перед колхозниками с чтением океаноподобного поэтического произведения народа, не знавшего ни своей письменности, ни изобразительного искусства. Да и сам Каралаев был неграмотным, что одно время и служило препятствием для его поступления в Союз писателей. Там все с дипломами были и с «двойными» высшими, со списками опубликованных произведений, а у Каралаева — шаром покати, ни единой печатной строчки. За что, на каком основании принимать в творческий Союз? Да и творчество ли то, что он исполняет?

Но тут активно вмешался Чингиз Торекулович: давайте, говорил он, запишем вариант текста «Манаса» в исполнении Каралаева — на это уйдут годы, но получим целую библиотеку. Каралаев — выдающееся явление киргизской культуры, ее украшение и гордость. Скромного, непризвального манасчи, наконец, приняли в Союз.

Я еще не видел таким оживленным, во-

плываемых кровью и плотью слов. «Манас» избрал человека и вошел в него... Мистификация? Ну, это уж кому как покажется.

Переходя на другую тему, сказал: — Что-то долго молчит Валентин Распутин...

Он чуток к собратям по перу, ценит их вещи, перечитывает, ждет появления новых. Внимательно следит за литературой союзных республик. Сам не пишет и никогда не писал стихов, но к настоящему поэтическому слову неравнодушен. Строчку Давида Кугультинова — «В соавторстве с землей и водою» он вынес в заглавие книги, вышедшей во Фрунзе, содержащей его очерки, статьи, беседы и интервью. Без причины чужие строчки не берут: значит, почувствовал в них что-то близкое, свое, сопереживаемое.

Удивил меня откровенным признанием: читатель заметно охлаждает к его последним произведениям. Получает меньше писем. Куда больше было откликов на его ранние работы, от которых он ушел, продвинулся, как ему представляется, дальше. Раздумывая, ставит вопрос прямо: что это? Привыкли к имени, непонимание, отражение разочарованности?

Я далек был от того, чтобы выступать в роли усложнителя или же опровергателя: читательская почта в его руках, и ему лучше судить. Просто передаю, не сглаживая, бесполое искусство художника. Но и в помельшем потоке писем встречаются такие, что о них стоит упомянуть.

Пришла официальная бумага: Чингиз Айтматов избран академиком Европейской академии науки, искусства и литературы в Париже: она объединяет в своих рядах наиболее выдающихся представителей науки и культуры континента. Впервые в эту Академию избран советский писатель.

Письмо из Франции. «Мой муж и я, — пишет супруги Реку, — только что открыли для себя ваши книги. И вот пишем вам, чтобы выразить свое восхищение, которое вызвано их чтением. Ваши описания захватывают, очаровывают. Привлекает поэтичность и гуманизм в облике ваших персонажей. У вас прекрасный язык... Это было для нас первое знакомство с современной советской литературой, которую мы не знали до этого. Если однажды путешествие приведет вас во Францию, то не забудьте, что мы были бы искренне счастливы встретить вас у себя».

Несмотря на сетования Чингиза Торекуловича, почта советских читателей и почитателей показалась мне значительной. Но, признаюсь, это впечатление человека, который не видел первые волны откликов и лишен возможности сравнивать. К тому же письмо писму рознь, и тут куда важнее содержание, а не количество. Есть на редкость трогательные послания, откровенные, я бы даже назвал их исповедальными. И происходит странное: сидящего напротив писателя вижу вот через эти читательские строчки! Он дал жизнь своим героям, и они шествуют по всем городам и весям нашей страны, за рубежом, где его книги изданы чуть ли не в девяносто государствах. Жаль, что до сих пор никто не догадался собрать объемистые тюки писем, выбрать наиболее значительное и издать отдельной книгой.

Почта Айтматова — это не только признание выдающегося художественного мастерства писателя: это и высокая оценка гуманитарной миссии всей советской литературы, ее роли и места в поступательном развитии социалистического общества, в духовном формировании человека. Книга писем явилась бы обстоятельной обзорной летописью, составленной многими сотнями авторов, наших и зарубежных.

Сестры-врачи из Уфы Дилы Тикеева и Марьян Сулейманова в своем письме аккуратнейшим почерком выписали стихотворение Афанасия Фета, адресуя его Чингизу Торекуловичу:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливов песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов,
Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упиться вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вынг почувствовать своим,
Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрелетных сердец —
Вот чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и признак и венец!

Прозаик тронут фетовскими строками. А «ладья живая», новая книга, судя по всему, вскоре отчалил от писательской пристани в Чолпон-Ата и присоединится к айтматовской флотилии...

Николай ХОХЛОВ.